Пролог

Многие не любят делать ремонт.

Ужас перед предстоящим разрушением понятен: было, может, и не очень хорошо, но штатно. То есть жить можно.

А тут приходится ломать собственное жилище, либо строить новое, и месяцами, а порой и годами жить в разорении. До финала еще далеко, но пыль, грязь, бессилие, траты мучают уже сейчас. На ремонтах иногда даже рушатся семьи.

Можно посоветовать не зацикливаться на результате, а полюбить процесс, не подтверждать постоянно поговорку «дураку полработы не показывают», а видеть перспективу.

Но советовать легко.

На моих глазах менялись времена и политические системы, мечты и разочарования, образцы и модели, типы мастеров и рабочих, концепции и материалы, возможности и ограничения, представления о моде и старомодности, о чистоте и свинарнике, о деньгах и безденежье, о красоте и уродстве, о вкусе и безвкусице, о ценном и никчемном, о добротном и сделанном на фу-фу, о необычном и набившем оскомину...

А эти слова: серпянка, болгарка, жидкие гвозди, монтажная пена, шпатлевка, затирка, уровень, заподлицо, где мне всегда слышался то ли «подлец», то ли «западло»!

В какой-то момент забрезжил выход, и чем дальше, тем больше прояснялось, что ремонт — это всегда еще что-то, что лежит за его пределами.

После этого открытия жить стало гораздо легче.

Я не художник, не архитектор, не дизайнер, не строитель, не декоратор. Всю жизнь я по-разному страдала от бремени советского образования — оно всегда оказывалось либо избыточным, либо недостаточным.

Я филолог когда-то и культуролог теперь, что бы это ни означало.

Однако по каким-то удивительным обстоятельствам, я многие годы живу в перманентном ремонте, и ни одно занятие, пожалуй, не доставляет мне столько удовольствия!

***

Ремонт, о котором я буду писать, не обычный, а культурологический.

Читатель не найдет здесь рассказов о стройматериалах, 3D-моделях, визуализации, выкрасах, рабочих треугольниках и мокрых зонах.

Зато будет о впечатлениях, эмоциях, воспоминаниях, фантазиях, уместности и соразмерности.

Принципы, по которым делается культурологический ремонт, не профессиональные и не рыночные. Но здесь не обойтись без некоторого багажа и способности к рефлексии.

Культурологический ремонт вскрывает слои жизни, причем он подчиняется не каким-либо законам и правилам, а внутренней уверенности самого человека, строится не по велению, а по хотению, как говорили в сказках.

Скажу сразу: моя книга вряд ли подходит тем, кто уважает дороговизну и презирает дешевку и самодеятельность. Я никогда не пойму, для чего нужны специальные «доводчики» в кухонных ящиках. Ничего не знаю про мрамор, глянец, камень и боюсь джакузи. Есть еще бытовая техника, без которой сейчас вроде бы не обойдется ни один уважающий себя человек. Мои познания в этой сфере скромны, но отнесем это к моей отсталости.

Часто на сайтах, посвященных ремонту и дизайну интерьера, публикуют бюджет ремонтов. «Всего три миллиона» — пишут они с радостью.

У культурологического ремонта есть большое преимущество: чуть-чуть дерзости, и мы с вами перехитрим рынок так, что любо-дорого будет посмотреть (пока, конечно, рынок не перехитрит нас и не начнет продавать концепцию «культурологического ремонта» почем зря).

Помимо «культурологического ремонта» я введу также понятие «малых родин», которое в моем опыте будет центральным. Таких родин может быть много, и они далеко не всегда связаны с местом рождения.

Культура здесь предстает в интерпретации Александра Доброхотова, а именно, как «своего рода память

об утраченном рае», которая «порождает мир очеловеченной природы и овеществленной человечности»[1]. На памяти об утраченном рае не в последнюю очередь основан и мой культурологический ремонт.

И этой рай — библейский или мильтоновский — для меня отнюдь не предполагает безоблачности. Он отражает, скорее, то состояние полноты, даже горькой, которая возникает, когда человек проживает какую-то важную часть своей жизни. Испанское слово *impacto* — воздействие, но и удар, как нельзя лучше описывает это ощущение. А если оно связано с определенным местом, возникает очень сильная связь, которая иногда не отпускает до конца дней.

Здесь также будут отсылки к книгам, театру и кино, не столько для выявления культурных параллелей, сколько для того, чтобы показать, что культурологический ремонт сродни вымыслу и игре.

Спасибо моим близким, умершим и здравствующим, без которых не было бы ни этих мыслей, ни этой книги и уж, конечно, ни одного ремонта.

---

[1] А. Л. Доброхотов Философия культуры. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С. 351.

Глава 1

Рай потерянный и обретенный

Что если отнестись к ремонту не как к процессу строительства и благоустройства, а как к одному из способов постижения жизни?

Инструментов тут много, и ремонт вполне может стать одним из них.

Пока мы делаем ремонт и так или иначе перекраиваем пространство, можно многое узнать о себе. А это, согласитесь, редкая возможность, почти сродни генетической экспертизе.

Одна из моих гипотез состоит в том, что в ремонт квартиры вкладывается вся предыдущая жизнь человека, даже та, которая разворачивалась в семье до его рождения, хотя он об этом и не подозревает.

И здесь чрезвычайно занимательно понятие малой родины.

Это квартира, дом, двор, улица, переулок, деревня, городок, город, где вы появились на свет.

Считается, что малая родина остается в детстве или в молодости, потом люди уезжают оттуда, но иногда возвращаются — по-настоящему или в мечтах.

Но есть места, не связанные с биографией. И все равно они кажутся родными.

Это может быть уголок, где вы никогда не были, и даже давно прочитанная книга. А некоторые малые родины появляются в поздние годы жизни.

Что если чем больше таких мест, тем интереснее? И прежде чем начать ремонт, стоит подумать, а какие — твои?

Малые родины, связанные с детством, часто хранят отсвет потерянного рая. Но стоит ли напоминать, что детские годы, не говоря уже об отрочестве и юности, — далеко не безмятежное, а порой — мучительное и горькое время.

Читающая публика уже почти сто семьдесят лет упивается описаниями Толстого: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают

мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений»[2]. Как не верить этим строкам! Тем не менее, зная реальную историю толстовского детства, нельзя не согласиться с биографом писателя Андреем Зориным, который утверждает, что «идиллический мир первых лет его [Толстого] жизни, описанный в “Детстве”, был порожден не столько реальным опытом, сколько литературным воображением писателя»[3].

Но потерянный рай от этого не становится менее настоящим.

Перед тем как приступить к продумыванию концепций культурологического ремонта, можно вспомнить о малых родинах.

Расскажу о своих, подлинных и воображаемых.

Я родилась в Москве, родной район — «Аэропорт». Считаю его родиной не только «малой», но и единственной, потому что никогда отсюда не уезжала. Однако на это звание претендуют и эстонский город Пярну, который связан с детством, и литовская Паланга, город из юности, который со мной и по сей день.

Этой родиной пыталась стать, но не стала Барселона. Франция, вышедшая из школы и до сих пор любимая, удерживает почетное место.

Где-то глубоко прячется город Баку, причем Баку довоенный, которого я никогда не видела, но там родились мои мама и дядя, и провела лучшие годы бабушка, Москву так и не полюбившая.

Украина, как родовой признак моего отца, хотя родился он в Киргизии, не смогла занять какого-то важного места внутри, но проносится почти несуществующей тенью, всякий раз, когда я слышу свою фамилию.

---

[2] Л. Толстой. Собрание сочинений в 14 томах. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1951. Т. 1. С. 44.

[3] А. Зорин. Жизнь Льва Толстого: опыт прочтения. М.: НЛО, 2020. С. 14.

Было бы несправедливо не упомянуть Америку, с которой, по идее, меня ничто не должно было бы связывать, но отчего-то душа замирает, как только я вижу американский интерьер середины прошлого века, или улицу в американском городке, или даже ковбойскую шляпу.

Впрочем, настоящие места в ретроспективе уже мало отличаются от воображаемых.

Баку

Я никогда не была в той квартире — ее давно нет, а дом сломан.

Я в ней не была, и мне трудно понять, как там всё было устроено; когда об этом думаю, погружаюсь в вечерний мир, скрытый портьерами.

Что-то я могла восстановить по рассказам родных, отрывочно: большой балкон, на котором спали летом, когда в комнате было душно, а с моря тянуло мазутом (спасительная бакинская нефть!); темная комната, где была печка и где в тазу, в нагретой воде, купали детей; спальня (это помещение совершенно тонет в пространстве ночи) и наконец — гигантская комната, в которой рояль помещался незаметно, круглый стол с абажуром над ним, диван; здесь пятна уже светлее, какие-то вазочки и тарелки оттуда еще целы, (как-то раз бабушка вошла в небрежно накинутом палантине, увидела, что столик стоит криво, тут же, с порога, поправила; слетели и разбились две чашки из старинного сервиза), они всегда были неуместными уже в Москве, на фоне современной посуды, которая стояла в других квартирах: старинные ножи с вензелями, лопаточка для торта, я их стыдилась, дети любят всё понятное, как стыдилась немосковских словечек и интонаций, архаичных, принадлежащих другому, южному, миру и смешно звучащих на севере.

Странно, но всё это имеет какое-то отношение ко мне, и я опять вижу вечер, и семью, собравшуюся за столом, а прошедший день переваривал накипевшее.

Бабушка до самого конца путалась, говорила не Москва, а Баку, и так и не смогла привыкнуть к этому северному городу, хотя прожила в нем больше сорока лет.

Она возила меня в Баку, когда мне было пять лет, к братьям и сестре.

Там, наверное, мало что изменилось. Гулкие, старомодные квартиры, высокие потолки, двустворчатые двери, покрашенные белой масляной краской, краска потрескалась, медные ручки пахли солоноватым запахом, ковры, опять портьеры и полумрак, газовая колонка в ванной, синие огоньки пламени. Игрушечная посуда у одной девочки, перламутровый кувшинчик с ванилью.

Какие-то предметы из Баку сохранились, половина повреждена, большинство пропало, погибло безвозвратно. Но эти вещи навсегда остались для меня образцом красоты и стиля.

Аэропорт

Когда бабушка заказывала такси по телефону, она подробно диктовала адрес, а потом добавляла: «Метро Аэропорт». С ударением на «Э». Так я и запомнила в детстве это слово.

А-Э-ропорт. Никакого аэропорта тут не было, был лишь подальше аэровокзал, но на Ходынском поле когда-то действительно был аэродром.

В начале шестидесятых на Аэропорте, среди деревьев, еще стояли деревянные домики. Где-то росли фруктовые деревья, ходили цыплята, а утром петух будил всю округу. Удивительно, но местами это напоминало деревню — это и было остатками деревни, постепенно стершейся из ландшафта и топографии, как исчез с лица земли, например, Шебашевский тупик.

Помню тропинку, по которой мы шли на Ленинградский рынок. Вокруг росли одуванчики. На улице Усиевича ближе к осени начинали расти космеи — большие

сиреневые, розовые и фиолетовые ромашки. За рынком был пруд с уточками. «Прекрасные, счастливые места, Различных сельских видов сочетанье!»[4] Много позже я узнала, что то была часть когда-то известного, прославившегося в литературе и в песнях Всехсвятского села.

На рынок можно было поехать на маршрутном такси. Пользовались им в основном пенсионеры. Помню платья, кофты, сумки у женщин; авоськи, шляпы, сандалии у мужчин. Старшие часто заговаривали со мной, иногда — приставали, вызывали на разговор. Тогда любили привязаться к ребенку с какими-то расспросами. Я отвечала нехотя, меня ругали за неприветливость. Приезжали на рынок — мне было скучно бродить вдоль рядов. Здесь меня окликали продавцы, но, в отличие от пассажиров маршрутки, они были ласковы. Им надо было продать свой товар.

Брали меня и в химчистку — унылое тесное заведение, с метками, смотанными в большие круги, и толстыми нитками и иголками, которые торчали в подушечке. Перед тем как сдать вещь, надо было спарывать пуговицы. Эти пуговицы часто терялись, и когда вещь была готова, выяснялось, что пуговиц нет. Все двигалось медленно, потому что посетители сами пришивали метки к своим вещам. Помню синюю копирку, полную женщину, с пальцами, перемазанными чернилами, которыми она писала на белых полосочках. Неприятный запах, очередь, скука. Вещи чистились две недели или месяц. Время тогда почти не шло.

Иногда вместо рынка мы ходили в продуктовый магазин «Комсомолец». Это было большое, неуютное пространство, набитое людьми. Меня всегда удивляло, почему

---

[4] Д. Милтон. Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения. М., Наука, 2006. С. 101. (Издание подготовили А. Н. Горбунов, Т. Ю. Стамова, © С. А. Александровский, Е. В. Витковский, А. Е. Зуевский, Ю. Б. Корнеев, В. В. Левик, А. П. Прокопьев, Т. Ю. Стамова, А. А. Штейнберг, переводы, 2006.)

овощи на рынке — чистенькие, перевязанные ниточками, а в магазине такие грязные и некрасивые.

Отец водил меня гулять в Тимирязевский парк. Туда надо было идти долго. Сначала пролезали сквозь дырку в заборе (она есть до сих пор), через рельсы — там ходили электрички, — затем еще через одну дырку и после этого начинался уже парк, или лес, как его называли. Помню особенный запах рельсов, гравий под ногами. Мы ходили туда несколько лет. И всякий раз на одном и том же месте лежала рваная калоша. Мы радовались ей, как старой знакомой.

На углу улицы Черняховского и Ленинградского проспекта стояли два киоска — газетный и продуктовый. По средам в газетном продавались четыре странички: «Рекламное приложение» к газете «Вечерняя Москва». Там публиковали частные объявления — тогда это была еще редкость. Они назывались «Куплю» и «Продам». Никогда не переводились люди, желающие купить какие-то значки и открытки. Помню одно необычное объявление: «Куплю шпоры». Кто-то продавал ноты — все песни «Битлз», по рублю за песню. Продавали серванты, трюмо и люстры. Но одно объявление я запомнила на всю жизнь: «Продается диван с матросом». Помню, как хохотала моя мама. Я тоже смеялась — что он, привязан, что ли?

Чуть дальше по Ленинградскому проспекту в будочке сидела чистильщица обуви — старая седая айсорка с кустистыми черными бровями. Сидела она там лет двадцать, потом умерла. Некоторое время чистильщиком работал ее сын, а потом чистка обуви прекратилась. В маленьком киоске недолго продавали сапожные кремы, губки, стельки и шнурки. Сейчас и его нет.

Еще дальше был магазин одежды. Это было длинное, большое помещение. Помню яркие, нарядные буквы на фасаде: «СИНТЕТИКА». Синтетика воспринималась как нечто прогрессивное и дерзкое в противовес устаревшим натуральным тканям. Помню так называемые комби-

нации — они трещали от одного прикосновения. Там мне купили ярко-голубую куртку из кожзаменителя. Куртка была тоненькая, но красивая. Я умудрилась в двадцатиградусный мороз кататься в ней на лыжах на уроке физкультуры. До сих пор удивляюсь, как уцелела.

Район Аэропорта был известен «творческими кооперативами». Писатели, художники, кинематографисты, циркачи. Дома были солидные, кирпичные. В некоторых на подъездах были золоченые ручки. Другие были гораздо скромнее, из сероватого кирпича, уютные, с балконами, высокими потолками и дворами, которые были естественным продолжением квартиры.

И такие дома, протиснувшиеся на границе 1950–60-х в узкую щель между «сталинками» и «хрущевками», для меня самые лучшие на свете.

Первая квартира

В первой квартире, в той, куда меня привезли из роддома, зародились и все представления о жилище.

Недавно я побывала в ней после огромного перерыва. Там давно живут другие люди. Я боялась этой встречи, но вздохнула спокойно: ничего совсем уж чуждого не появилось, а что-то неожиданно сохранилось!

Например, вентиляционная решетка. Хорошо, что нынешние хозяева ее не сменили. Остались и батареи, правда из белых они стали горчичными, но греют, как и раньше, сильно. Сколько раз здесь сушились синие зимние штаны с начесом, застывшие льдинки постепенно таяли, и на подстеленную газету натекала лужа.

На месте и входная дверь со старыми петлями, выкрашенными белой масляной краской. Пол не тронули (видимо недосуг было циклевать), и я увидела разводы от бесконечно переставляемой мебели — я узнала их.

Никто не решился отремонтировать и балкон, с которого мы с моей соседкой по лестничной клетке и всегдашней

подругой по играм, спускали на катушках дурацкие записочки, привязанные к ниткам. Люди ловили их, разворачивали, смеялись или грозили кулаком.

И странное открытие: в детстве я считала квартиру маленькой, а сейчас она показалась большой. Обычно бывает наоборот.

Я все думала потом — почему она так выросла?

Возможно, дело было в старом, темном, паркете, который — вот чудо! — сохранил всю энергию и особенности этого жилья.

Было и другое: хозяева убрали антресоли. Потолки ринулись ввысь, и магия увеличилась вдвое.

Там, в этой квартире, я читала книжку «Норвежские народные песенки». Больше всего я любила одно стихотворение. В нем заключалась важная идея дома, устроенного по принципу матрешки.

В маленьком доме,
Который за маленьким домом
Сапожника Грина,
В тёмной кладовке,
Которая в тёмной кладовке
Его магазина,
Под табуреткой,
Которая под табуреткой
Жены его брата,
Дед его прадеда
Булочку с маком
Спрятал когда-то[5].

Этот дом, который слой за слоем, углубление за углублением, открывает что-то маленькое и ценное, никогда не давал мне покоя.

Еще из любимых книг — про Малыша и Карлсона. Впрочем, в этой книжке меня больше волновал не столько

[5] Ингер Хагеруп. В маленьком доме. (Пер. Ю.Вронского) // Грустный кондитер. Норвежские стихи для детей. Детгиз, 1963. С. 43.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru